



ЕВРОПЕЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Михаил Демьяненко

**Испанская
и Российская империи
в XV–XVIII веках:
пролегомены
к сравнительному
анализу**

Препринт М-82/21

Центр исследований
модернизации



Санкт-Петербург
2021

УДК 93/94(470:460)''14/17''
ББК 63.3(2Рос:4Исп)
Д32

Д32 Демьяненко М. А.

Испанская и Российская империи в XV–XVIII веках: пролегомены к сравнительному анализу / Михаил Демьяненко : Препринт М-82/21. — СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2021. — 38 с. — (Серия препринтов; М-82/21; Центр исследований модернизации).

В работе рассматриваются методологические подходы к сравнительному анализу Российской и Испанской империй XV–XVIII веков. Последовательно проанализированы четыре генерализованные модели европейской истории 1100–1800 годов: абсолютизм, военно-налоговое государство, «государство Нового времени» («модерное государство»), «компози́тное государство». Автор утверждает, что ни одна из них не является в полной мере подходящей для проведения компаративного анализа обеих империй в предлагаемых данными моделями методологических рамках. Однако все они содержат концептуальные точки и эмпирические наблюдения, отталкиваясь от которых можно начать разработку новой модели.

Информация об авторе: Демьяненко Михаил Алексеевич — аспирант факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, научный сотрудник Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге (mdemyanenko@eu.spb.ru).

То, насколько Испанская и Российская империи кажутся подходящими или неподходящими объектами для сравнительного анализа, во многом зависит от эпистемологических конвенций, устоявшихся научных практик и сил инерции исследовательских традиций внутри той или иной научной дисциплины. По этой причине я уделяю внимание не только самим попыткам сравнительного анализа исторических траекторий России и Испании, но и их дисциплинарному измерению. Как мы сможем убедиться, такие попытки были крайне редкими, несистематичными и потому, в сущности, безрезультатными.

Это обстоятельство вынуждает меня рассмотреть генерализованные модели европейской истории XV–XVIII веков, имеющиеся в распоряжении историков, исторических социологов и специалистов по международным отношениям. Ключевой проблемой для них является концептуализация основного исторического актора — государства. Я рассмотрю четыре конкурирующие модели такого рода: абсолютистское государство, модель военно-налогового государства (*military-fiscal state*), модель «государства Нового времени» (оно же «модерное государство» — *modern state*) и «композитного/конгломератного государства» (*composite/conglomerate state*). Представляется, что ни одна из них не является в полной мере пригодной для проведения дальнейшего исследования в ее рамках. Тем не менее все они содержат некоторые концептуальные точки и эмпирические наблюдения, отталкиваясь от которых можно попытаться использовать опыт России и Испании для корректировки наших представлений о ходе европейской и мировой истории.

Историки и проблема дистанции

Историки, если они вообще были готовы проводить не слишком привлекательные для них компаративные исследования, в основном предпочитали следовать совету одного из немногих общепризнанных классиков своей дисциплины — Марка Блока. Он рекомендовал сравнивать «соседние и современные друг другу общества, бесконечно влияющие друг на друга и в силу этой близости развивающиеся во времени и пространстве под действием одних и тех же главных причин» [Блок 2001: 68]. Следовательно, предпочтение надо отдавать синхронному, а не диахронному анализу и, кроме того, максимально воздерживаться от «дистантных» сравнений. Наиболее релевантными объектами для сопоставления с Россией в таком случае оказывались сперва Речь Посполитая [Флоря 2019], а затем Османская, Габсбургская (Австрийская) и Германская империи [Миллер 2013]. В случае Испании очевидными кандидатами были ее географические соседи как внутри Европы, так и в колониях. В разные периоды этот список включал в себя Португалию, Францию, Голландию и Великобританию [Elliott 2006; Glete 2002; Israel 1997; McAlister 1984; Pagden 1998].

Хотя Россия и Испания иногда оказывались на соседних страницах в современных обобщающих работах, где в центре внимания находятся процессы, характерные для всех империй в целом в тот или иной исторический период, — рост национализма [Nationalizing Empires 2015], практики «управления различиями» [Burbank, Cooper 2015] и т. д., — однако к прямым сопоставлениям их исторического опыта это не приводило. Даже в рамках работ, специально посвященных теме «Россия и Испания», исследователи предпочитали избегать сравнительного анализа, концентрируясь или на общих для двух стран сюжетах — например, дипломатических взаимоотношениях, — или излагая «параллельные истории», объединенные общей темой, но в остальном никак не связанные друг с другом (например, история средневекового города, аграрная история и т. д.) [Испания и Россия: исторические судьбы и современная эпоха 2017; Россия и Испания: историческая ретроспектива 1987].

Помимо этого, можно обнаружить разве что некоторое количество «импрессионистских», сделанных «мимоходом» сравнений, обычно выдержанных в поэтическом тоне и воспроизводящих довольно клишированный образ обеих стран как очагов религиозного фанатизма и нетерпимости. Например, Джеймс Биллингтон полагал, что «подобно

Испании, Московия оказалась на пути чужеземных вторжений в христианский мир и в борьбе с захватчиками обрела национальную самобытность... Фанатизм, порожденный слиянием политической и религиозной власти, превратил обе страны в непреклонных ревнителей христианства... Испания была столь же несостоятельна, как и Россия, в устремлениях к свободе, а в грезах о всеобщей справедливости образованное меньшинство “двух оконечностей Европы” обращалась к поэзии, анархии и революции» [Биллингтон 2001: 101–102]. Похожее суждение, пусть и в чуть более мягкой форме, высказал Майкл Ходарковский: «К XVI столетию Испания, “чье существование было одним длинным крестовым походом”, и Московия, стремительно появившаяся из неизвестности с собственным мессианским настроем, воздвиглись как колоссы, охранявшие восточный и западный фланги Европы от исламского мира... Как московитская, так и испанская идентичности были в очень большой степени сформированы столкновением с исламским миром» [Ходарковский 2019: 10–11].

Вряд ли приведенные мной отрывки можно считать в достаточной степени эмпирически подкрепленными. Скорее, они сами по себе нуждаются в сравнительном анализе, который будет способен проследить пути формирования антироссийского и антииспанского дискурса в Европе¹, а также механизмы его усвоения и укоренения внутри русской и испанской интеллигенции соответственно. Хотя и Биллингтон, и Ходарковский являются признанными и уважаемыми специалистами в своих областях, вряд ли их можно строго критиковать за использование подобных идеологических штампов, если они перманентно воспроизводятся в целых исследовательских областях. Так, французский историк-испанист Жозеф Перес в 2004 году отметил: «Вот уже лет десять ничто не мешает ряду историков относиться к Испании как к стране, чье развитие сопоставимо с эволюцией других народов Западной Европы. Такой подход противоречит прежней традиции. Действительно, долгое время было принято культивировать иной образ Испании — Испании, которая с XVI века игнорировала и пренебрежительно относилась к секуляризации мысли, развитию науки и техники, отказываясь идти по пути прогресса и демократии. В самой Испании эти теории и поныне находят поддержку у многих ученых либо потому, что они придерживаются того же мнения, либо потому, что считают католицизм неотъемлемой,

¹ В отличие от антироссийского он имеет свое название: «Черная легенда» (“Leyenda negra”).

самобытной чертой своей родины: Испания, чья эволюция была бы схожей с историческим развитием Европы, не была бы Испанией. Можно сожалеть или, наоборот, радоваться, но похоже, что многие свыклись с образом страны, занимающей в Европе маргинальное место» [Перес 2012: 5]. Если мы заменим в вышеприведенной цитате слова «Испания» и «католицизм» на «Россия» и «православие», то ее смысл практически не изменится. Правда, это свидетельствует скорее не о сходстве двух стран, а о том, что все нарративы «особого пути» (*Sonderweg*) скроены по одним лекалам.

Таким образом, в рамках исторической науки развернутый сравнительный анализ двух империй по причинам методологического характера выполнен не был (одно известное мне квазиисключение — работы Честера Даннинга — будет рассмотрено ниже в блоке про военно-налоговую модель). Поэтому перейдем к характеристике более общих моделей европейской истории, в которых подобное сравнение могло бы быть проведено.

Абсолютизм

Перед исторической социологией, которая, в отличие от исторической науки, никогда не испытывала сомнений по поводу легитимности использования «дистантных» и диахронных сравнений, стояли методологические проблемы другого рода. Было неясно, в какую общую аналитическую категорию можно поместить обе страны, а следовательно, было неясно и в каких терминах будет проводиться анализ. Первой из предложенных аналитических категорий был абсолютизм в его неомарксистской трактовке. Две вышедшие одновременно (в 1974 году) книги Иммануила Валлерстайна и Перри Андерсона предлагали разительно отличавшиеся теоретические перспективы.

Основатель мир-системного анализа в первом томе своего *magnum opus* писал, что «одним из ключевых свидетельств в пользу гипотезы, что Россия не являлась частью европейского мира-экономики [в XVI–XVII вв.], было именно становление здесь абсолютной монархии по модели, в сущностных чертах аналогичной западноевропейской и при этом полностью отличавшейся от модели Восточной Европы» [Валлерстайн 2015: 386]. Подобную гомологию Валлерстайн выводил как раз из сопоставления исторического опыта Московии и Кастилии XV–XVI веков, которые в его изложении становились двумя интервенционистскими

и экспансионистскими державами, создавшими мощный государственный аппарат, способный как к эффективному установлению систем принудительного труда (крепостное право и энкомьенда соответственно), так и к ведению завоевательных войн [Там же: 386–387].

В подобном тезисе наблюдается очевидный след формационного подхода, характерного для классического марксизма. Получалось, что любая историческая общность (в данном случае — страна) развивалась стадийно под воздействием некоторых универсальных детерминант исторического процесса (в первую очередь, конечно, классового конфликта) ровно до того момента, как данная страна «втягивалась» в капиталистическую мир-экономику. Однако то, на какой именно стадии своего внутреннего развития страна вступала в капиталистическую систему международного разделения труда, оказывалось решающим фактором, определявшим ее дальнейшее положение внутри мир-экономики. Так, Валлерстайн считает, что Ивану Грозному удавалось поддерживать автономию России от европейского мира-экономики «достаточно долго, чтобы впоследствии, когда этот мир-экономика все же поглотит Россию, она вошла в его структуру как полупериферийное государство (наподобие Испании XVII–XVIII веков), а не как периферия типа Польши» [Там же: 389]. Любопытно, что в последующих томах «Мир-системы Модерна» Валлерстайн никак не развивает этот тезис и больше не проводит никаких параллелей между Россией и Испанией. Да и в первом томе попытка подобного сравнения занимает всего четыре страницы, что не позволяет отнести ее к числу эмпирически подкрепленных. Насколько мне известно, эта идея не получила никакого развития у других специалистов как в области мир-системного анализа, так и за его пределами.

Перри Андерсон в своей «Родословной абсолютистского государства» не проводил эксплицитного сравнения между испанским и русским абсолютизмами, однако сама архитектоника его книги позволяет это сделать. Андерсон выделял два основных варианта абсолютизма — западный и восточный. Возникновение западного варианта объяснялось вполне классическими для марксизма эндогенными изменениями в отношениях производства: исчезновение крепостнических отношений в сельской местности привело к «сдвиг[у] политико-юридического принуждения вверх, в сторону централизованной и милитаризованной вершины — абсолютистского государства» [Андерсон 2010: 19]. Возникновение же восточного варианта Андерсон объяснял через введение геополитического аргумента: «международное давление западного абсолютизма как политического аппарата более мощной феодальной

аристократии, управлявшего более развитыми обществами, вынудило восточную знать создать такую же централизованную государственную машину для того, чтобы выжить» [Там же: 185]. Таким образом, в ракурсе интересующей нас темы Россия и Испания оказывались контрастирующими кейсами по всем основным параметрам: географическое и геополитическое положение; присутствие крепостного права vs. его отсутствие²; отсутствие практики продажи должностей vs. ее наличие³.

При всех отличиях между этими двумя неомарксистскими концепциями можно отметить одно важное сходство: введение фактора пространства в качестве одного из ключевых компонентов объяснительной модели в дополнение к традиционному для марксизма классовому анализу. В случае Валлерстайна это пространство геоэкономическое, а в случае Андерсона геополитическое. Помимо того, что работа Андерсона оказалась одной из первых послевоенных⁴ моделей, активно использующих геополитический подход для построения модели общеевропейской истории, она интересна еще в одном отношении. Андерсон рассматривал абсолютизм как «перенацеленный и перезаряженный аппарат феодального господства» [Там же: 18]. Если отвлечься от классового анализа, это утверждение означало новый подход к периодизации: период Средневековья («феодализма») продлевался значительно дальше, чем это было принято ранее⁵. Необходимо отметить, что и геополитический

² Любопытно, что Андерсон ни единой строчкой не упоминает практики принудительного труда в испанских колониях в Америке — энкомьенду и миту.

³ «Критическую разницу между восточным и западными вариантами [абсолютизма] можно увидеть в соответствующих способах интеграции дворянства в новую бюрократическую систему, созданную ими. Ни в Пруссии, ни в России не существовала сколько-нибудь заметная продажа должностей» [Андерсон 2010: 203].

⁴ Вторая мировая война отрицательно сказалась на престиже геополитики, поскольку плотно ассоциировалась с милитаризмом и «германизмом», а через них с нацизмом.

⁵ Сравните с цитатой из британского марксистского историка Эрика Хобсбаума: «Даже в развитых странах потребовалось некоторое время для того, чтобы заметить, и еще более длительный период, чтобы оценить, масштаб изменений, вызванных переходом количественного материального роста в качественные сдвиги в жизни людей. Однако для большей части земного шара эти изменения стали не только стремительными, но и сейсмическими. Для 80 % человечества Средневековье закончилось внезапно в 1950-е годы, хотя осознание этого пришло не раньше 1960-х годов» [Хобсбаум 2004: 311]. Можно также упомянуть концепцию «Долгого Средневековья» Жака Ле Гоффа, который хоть и не был марксистом, но всю жизнь сочувствовал левым идеям и использовал некоторые марксистские

подход, и новое темпоральное членение окажутся привлекательными для дальнейшего развития концептами, хоть я и не берусь судить, в какой степени именно книга Андерсона повлияла на дальнейшие работы, использующие эти приемы.

В начале 1990-х годов концепция абсолютизма получила удар, от которого уже не смогла оправиться. Николас Хеншелл, простой английский школьный учитель истории, в 1992 году выпустил книгу под названием «Миф абсолютизма. Перемены и преемственность в развитии западноевропейской монархии раннего Нового времени» [Хеншелл 2003]. Он поставил в центр своего анализа два классических кейса: Англию и Францию XV–XVIII веков, — хотя эпизодически и прибегал к более широкому спектру сравнений. Мишенью своей атаки Хеншелл выбрал четыре связанных между собой тезиса: абсолютизм деспотичен (абсолютизм как враг свободы); абсолютизм автократичен (не обращается к консультативным механизмам); абсолютизм бюрократичен (опирается исключительно на коронных агентов); абсолютизм никак не связан с Англией (дихотомия континентального абсолютизма и английской конституционной монархии) [Там же: 8].

Хеншелл постарался показать, что все монархии Европы раннего Нового времени (ок. 1450–1789 гг.) действительно использовали очень схожий набор административных практик. Однако эти практики в основном опирались на консультативные механизмы на национальном и региональном уровне, а не на бюрократическое и военное принуждение, что не позволяет рассматривать их как «абсолютистские» в привычном смысле слова. Более того, данные консультативные механизмы кардинально усиливали власть монарха, а не ослабляли ее, как полагалось прежде: «Пока репрезентативные органы подчинялись короне, а не избирателям, они оставались инструментом королевской политики, а английский парламент был в этом отношении особенно показательным» [Хеншелл 2003: 227]. Таким образом, термин «абсолютизм» терял свой смысл — никакой «абсолютной власти» монарха на уровне административных практик ни в одной европейской стране раннего Нового времени никогда не существовало. В лучшем случае можно говорить об отдельных попытках некоторых юристов (в основном, конечно, французских) охарактеризовать полномочия и прерогативы короля подобным образом. Не было между европейскими странами и кардинальных отличий

методологические ходы. Для Ле Гоффа Средневековье заканчивается примерно в середине XVIII века — с поздним Просвещением [Ле Гофф 2018].

в уровне насилия против своего населения. Соответственно, и противопоставление репрессивных абсолютистских монархий якобы более мягким «конституционным» режимам тоже не имеет особого смысла. Распространенным же как в научной и научно-популярной литературе, так и в массовой культуре образам абсолютизма и противостоящего ему конституционализма мы в основном обязаны пропагандистским усилиям различных политических акторов, особенно усилившимся после Великой французской революции. Так что абсолютизм, помимо всего прочего, представляет собой еще и анахронизм. Образ мысли XIX века о XV–XVIII веках [Там же: 226–240].

В последующей дискуссии довольно большая часть специалистов по Франции не проявили особого энтузиазма в отношении критики, высказанной Хеншеллом, и остались сторонниками использования термина «абсолютизм». Однако позиция Хеншелла оказалась крайне стимулирующей для специалистов по другим странам. Особенно это заметно в случае российских историков-русистов, где сомнения в методологической продуктивности «абсолютизма» применительно к истории России наложились на банальную усталость от идеологии марксизма-ленинизма, которая принуждала к обязательному использованию этого термина и производных от него («просвещенный абсолютизм», «абсолютистские тенденции» и т. д.). Уже в 1999 году (т. е. всего через семь лет после выхода «Мифа абсолютизма») Александр Каменский, один из ведущих российских специалистов по русскому XVIII веку, укажет, что «в западной историографии давно уже наметилась тенденция вовсе отказаться от использования понятия “просвещенный абсолютизм” применительно к России», и успешно призовет последовать ее примеру [Каменский 2019: 36]⁶.

Таким образом, в рамках абсолютистской парадигмы никакого систематического сравнения России и Испании не было проведено ни на уровне эмпирических исследований, ни на уровне историко-социологи-

⁶ Разумеется, как в полномочиях королевской власти, так и в историографии не бывает ничего абсолютного. Работы по русистике, использующие термин «абсолютизм», продолжали выходить и в 1990-е, и позднее. Однако общий тренд на постепенный отказ от использования термина несомненен. Даже в работах, посвященных юридическим и философским представлениям о том, какой должна быть власть российского монарха, т. е. в контексте, наиболее предрасполагающем к использованию термина «абсолютизм», как отечественные, так и зарубежные историки теперь в основном предпочитают использовать термин «законная монархия», введенный в работах Олега Омельченко [Омельченко 1993; Шарф 2008].

ческого теоретизирования и обобщения. Когда же господство абсолютизма было подорвано, теоретический вакуум, оставленный им, был заполнен двумя частично соперничающими, частично пересекающимися теориями. Ими были модель военно-налогового государства (*military-fiscal state*) и модель «государства Нового времени» (*modern state*). Рассмотрим их последовательно.

Военно-налоговое государство

Модель военно-налогового (или военно-фискального) государства была создана Чарльзом Тилли в середине 1970-х годов. Первоначально она была предложена в сборнике «Формирование национальных государств в Западной Европе» (1975), затем улучшена в знаменитой статье «Война и строительство государства как организованная преступность» (1985) и доведена до совершенства в книге «Принуждение, капитал и европейские государства» (1990, вторая редакция 1992) [Tilly 1975; Tilly 1985; Тилли 2009]. Определение государства по Тилли довольно простое: это «организации, осуществляющие принуждение, отличные от домохозяйств и родственных групп и имеющие несомненное преимущество сравнительно со всеми другими организациями на данной территории» [Тилли 2009: 22]

Мышление Тилли может быть охарактеризовано как аисторическое или даже антиисторическое. Как видно из определения, американский социолог рассматривал государство как часть континуума организаций, опиравшихся на максимизацию средств насилия. И потому, в сущности, государство мало чем отличается от разбойничьих банд или картелей наркоторговцев — различие лишь количественное (в степени концентрации средств насилия), но не качественное. Исторический процесс с этой точки зрения представлял собой накопление средств насилия и выстраивание административных механизмов для осуществления этого накопления. Механизмов в первую очередь фискальных: выкачивание средств из населения приводило к росту потенциала насилия одного государства, что стимулировало точно такой же процесс в других государствах, конкурирующих с первым. Историков как представителей научной дисциплины, чьей центральной проблемой является периодизация — т. е. расчленение единого потока времени на некоторые количественные отрезки (эпохи, периоды), *качественно* отличающиеся друг от друга, — подобный подход устроить никак не мог. Дисциплинарная одержимость

«идолом истоков», как это поэтически сформулировал Марк Блок [Блок 1986: 19–23], подтолкнула их радикально трансформировать модель Тилли. Необходимо было выделить в ней точку бифуркации, период кардинального качественного перелома — им становится «военная революция» (*military revolution*).

Идея того, что в раннее Новое время произошло радикальное изменение военных технологий, была выдвинута достаточно давно. Еще в 1955 году Майкл Робертс, специалист по истории Швеции XVI–XVII веков, прочитал лекцию в университете Белфаста, в которой ввел сам термин «военная революция»⁷ [Roberts 1967]. Под ним он понимал комплекс изменений в вооружении, тактике и подготовке европейских войск, начавшийся с голландского штатгальтера Морица Оранского и достигший своего апогея в шведской армии времен Густава Адольфа. Однако испытавший явное влияние Тилли тезис о наличии положительной обратной связи между военными технологиями и государственными структурами в общеевропейском масштабе был выдвинут историками только в конце 1980-х — середине 1990-х годов. В работах Брайана Доунинга, Пола Кеннеди, Джеффри Паркера и многих других последовательно проводится идея, что именно дорогостоящие изменения в военном деле XV–XVII веков — такие как бастионная система фортификаций (*trace italienne*), полковая артиллерия и общий рост численности армий — были ключевым стимулом для европейских государств создавать мощные фискальные и кредитные механизмы, способные подпитывать гонку вооружений [Downing 1992; Parker 1996; Кеннеди 2018]. Наиболее радикальная версия этого тезиса принадлежит Паркеру, который полагал, что именно государственные структуры, порожденные «военной революцией», являются ключевым фактором, затем обеспечившим европейское доминирование над остальной частью планеты [Parker 1996: 115–145].

Первым (и пока, насколько мне известно, единственным), кто попробовал применить концепцию военно-налогового государства для сравнения России и Испании, был американский историк Честер Даннинг. Рассмотрев Россию начала XVII века как военно-налоговое государство

⁷ Впрочем, похожие идеи (пусть и менее детально разработанные) можно найти еще раньше. Например, Отто Хинце в 1906 году писал о «милитаризованном абсолютизме с бюрократической администрацией» [Цит. по Dunning 2006: 24]. Но, как это часто бывает, дать звучное определение, легко поддающееся активному тиражированию, по меньшей мере столь же важно, как и описать саму суть явления.

в своей монографии, посвященной Смутному времени [Dunning 2001], он подверг схожему анализу более ранний период конца XV — середины XVI веков в двух своих статьях. В статье 2006 года «Выходя за рамки абсолютизма: была ли раннемодерная Россия военно-налоговым государством?» Даннинг обрушился на устаревшую, по его мнению, концепцию абсолютизма. Подняв на щит книгу Хеншелла⁸, он предлагал рассматривать Россию в одном ряду с прочими военно-налоговыми государствами Европы [Dunning 2006]. Именно здесь он впервые высказал мысль, что Испания (вернее, Кастилия) и Россия были первыми военно-налоговыми государствами на европейском пространстве [Ibid.: 34–35]. Однако, более увлеченный полемической атакой на сам термин «абсолютизм», чем выстраиванием стройной альтернативной концепции, он не привел каких-либо серьезных аргументов в поддержку своего тезиса, кроме упоминания банального факта, что обе державы продемонстрировали способность к быстрой территориальной экспансии примерно в один и тот же период. Сами же механизмы этой экспансии остались за пределами его внимания.

Также, для того чтобы тезис о сходстве Кастилии и России хоть в какой-то мере выглядел убедительно, Даннингу пришлось ввести дополнительное хронологически-типологическое членение, основанное на влиянии капитализма (очевидно экстернальный фактор), и выделять два типа военно-налоговых государств. Кастилия и Московское царство оказывались «ранними», возникшими до появления капитализма и потому в значительной степени опиравшимися на прямое принуждение для извлечения доходов на поддержание армии. Перманентное использование принуждения отрицательно сказывалось на развитии экономики

⁸ При этом Даннинг предпочел «не заметить», что сам Хеншелл видел в военно-налоговой модели лишь вариацию абсолютистской: «Две наиболее распространенные концепции “абсолютизма” считают главным фактором формирования “абсолютизма” практическую необходимость преобразований в стране. Одна версия подчеркивает роль войны и “военной революции”. Другая выдвигает на передний план стремление правительств эпохи раннего Нового времени улучшить духовное и материальное благосостояние своих подданных» [Хеншелл 2003: 10]. Не берусь судить, насколько корректен этот тезис Хеншелла (особенно учитывая тот факт, что значительная часть литературы, посвященной военно-налоговому государству, выйдет после «Мифа абсолютизма»), но очевидно, что Даннинг проводит разрыв там, где сам Хеншелл его не видел. Впрочем, есть ли другой способ сконструировать интеллектуальную традицию, кроме как подстроить идеи своих предполагаемых предшественников под свои нужды?

и замедлило развитие капитализма в обеих странах после его появления. «Поздние» же военно-налоговые государства, к которым Даннинг относит Англию и Голландскую республику, «были часто способны мобилизовать национальные ресурсы без нанесения серьезного ущерба [своей] экономике» [Ibid.: 33].

Таким образом, в очередной раз были воспроизведены старые представления об отставании и повышенной репрессивности России и Кастилии в сравнении с «передовыми странами». Только теперь уже не Западной (Кастилию все-таки трудно упрекнуть в «незападности»), а Северной Европы. Кроме того, подобные утверждения противоречат самой логике военно-налоговой модели: непонятно почему «ранние» военно-фискальные государства в принципе позволили Англии и Голландии просуществовать достаточно долго для того, чтобы те смогли стать «поздними» военно-налоговыми государствами. В логике геополитического столкновения, ставящего слабую сторону перед выбором «модернизируйся или умри», не должно быть хронологических промежутков, в которых не происходило бы трансферов военных и административных технологий длительностью более восьмидесяти лет. А ведь именно столько прошло между концом Итальянских войн между Францией и Испанией (1494–1559), ответственных за появление значительной части изменений, ассоциируемых с «военной революцией» (бастионная фортификация, использование плотных смешанных пехотных построений из мушкетеров и пикинёров и т. д.) и созданием в Англии кромвелевской «Армии нового образца» — первой английской регулярной армии (1644).

В работе 2014 года под названием «Были ли Московия и Кастилия первыми военно-налоговыми государствами?» Даннинг в краткой форме повторил тезисы своей предыдущей статьи [Dunning 2006], дополнив их обзором литературы, вышедшей по данной теме за восемь лет [Dunning 2014]. Каких-либо новых параметров, по которым можно было бы провести сравнение, предложено не было: примерная темпоральная синхронность экспансии оставалась ключевым положением для помещения двух стран в одну категорию.

По моему мнению, модель военно-налогового государства как в версии Даннинга, так и в версии ряда других историков в своих сущностных чертах мало чем отличается от абсолютистской модели, которой она якобы пришла на смену. Если оригинальная модель Тилли действительно была радикальной альтернативой абсолютизму в рамках *исторической социологии*, поскольку была антистадиальной, то после пересечения дисциплинарной границы она стала трансформироваться под

воздействием устоявшихся паттернов исторического мышления. Для Чарльза Тилли вопросы, вынесенные в заголовки статей Даннинга, не имели бы никакого смысла. Ведь военно-налоговое государство — это не какая-то особая форма государства или стадия его развития. Любое государство *по определению* является военно-налоговым. Следовательно, бессмысленно задавать и вопрос, какое именно из военно-налоговых государств возникает первым: «поскольку государства всегда возникают в результате борьбы за контроль над территорией или населением, то и появляются они не поодиночке и обычно группируются в системы» [Тилли 2009: 25]. Таким образом, то, что современные историки понимают под военно-налоговым государством, имеет довольно мало общего с исходными интенциями Тилли. Для них военно-налоговая модель оказалась привлекательным способом перенастроить исследовательскую оптику, отказавшись от термина «абсолютизм», углубиться в историографические баталии по поводу периодизации европейской истории и, что отнюдь немаловажно, обозначить все эти изменения ярким «лейблом».

Иными словами, историки, придерживающиеся военно-налоговой модели, как они ее понимали, вычленили из абсолютистского историографического наследия определенную проблемную область, на которой и сосредоточили свои дальнейшие усилия. Это определенно дало немало позитивных результатов, поскольку стимулировало исследовательский интерес, позволивший накопить значительный материал по военной и фискальной истории европейских государств, в том числе и России [Пенской 2010; Козлов, Дмитриева 2020]. Однако это было достигнуто за счет *сужения* предметной области, а не за счет ее расширения. Продуктивного исторического синтеза в рамках военно-налоговой модели достигнуть не удалось. Из абсолютистской купели вместе с классовой борьбой было выплеснуто много чего еще. Например, культура и вообще вся проблематика, связанная с символическим: «Модель военно-налогового государства... не может объяснить, почему Кастилия оказалась способна породить “Дон Кихота”, а Московия — нет, но эта модель может объяснить, почему многообещающее экономическое развитие обеих стран резко прервалось в царствования Филиппа II и Ивана Грозного»⁹ [Dunning 2014: 196].

⁹ Впрочем, для Даннинга это скорее несомненное достоинство модели, чем ее недостаток. Как он заявил в своем интервью: «я не верю в семиотику» [Dunning 2013: 38].

Учитывая, что со времен расцвета исторической антропологии в конце 1980-х годов историки все чаще и чаще обращаются к проблематике культуры (так называемый «культурный поворот»), неспособность военно-налоговой модели включить ее в себя является критическим недостатком. Представляется, что она окажется просто банально непривлекательной для следующего поколения ученых, воспитанных в интеллектуальной традиции, утверждающей, что «культура имеет значение». Это осознают и самые преданные сторонники военно-налоговой модели. Джереми Блэк, один из самых плодовитых военных историков нашего времени, в 2011 году выпустил небольшую книгу «Война и культурный поворот» [Black 2011]. В ней он постарался рассмотреть определяемые культурой наборы ценностей (*sets of values*) как важную часть контекста, в котором принимаются военные решения как на тактическом, так и на стратегическом уровне. Вряд ли такой вывод можно считать в полной мере новаторским. Особенно учитывая, что, как пишет сам автор, невозможно утверждать, что «ценности... играют ключевую роль в принятии конкретных решений» [Ibid.: 53]. Иными словами, невозможно говорить о повсеместном наличии устойчивой причинно-следственной связи между культурой и военной практикой.

Насколько мне известно, книга Блэка — пока единственная попытка соединить военно-налоговую модель и культуру на теоретическом уровне в рамках исторической науки. В остальном же наблюдается скорее накопление эмпирического материала. Например, издательство Palgrave Macmillan в 2010 году запустило отдельную серию «Война, культура и общество», в рамках которой в настоящее время выпущено уже 25 монографий и сборников статей. Среди них можно найти работы, посвященные таким экзотическим темам, как библиотеки подразделений британской армии в XIX веке [Murphy 2016] или средства визуальной пропаганды всеобщей воинской повинности в революционной Франции [Mainz 2016]. Однако значимых изменений в уровне теоретической трансформации военно-налоговой модели, как представляется, пока не произошло.

Но главный теоретический вызов для ее последователей был брошен не со стороны сторонников примата культуры, а со стороны специалистов по международным отношениям. Политический марксист Бенно Тешке¹⁰ атаковал скорее оригинальную социологическую модель Тилли,

¹⁰ Иногда его фамилию транскрибируют на русский язык как Течке [Течке 2007].

нежели ее трансформированный историками вариант. Тешке утверждал, что «в модели геополитической конкуренции, которая постоянно апеллирует к примату военного соперничества, в то же время отсутствует социальная теория войны... Другими словами, труды по теории геополитической конкуренции не объясняют, почему простой факт территориального соседства необходимым образом вызывает конкуренцию» [Тешке 2011: 186]. Под «отсутствием социальной теории войны» имеется в виду, что не соблюдено ключевое для всех социологических теорий со времен Эмиля Дюркгейма требование — «объяснять социальное социальным». Так как война, несомненно, есть социальный феномен, то ее причины должны быть объяснены через другие социальные феномены, а не через географию, психологию или что бы то ни было еще. Являясь марксистом, Тешке призывал «восстановить связь социального содержания войны с общественными отношениями собственности, которые сделали ее необходимой стратегией воспроизводства докапиталистических правящих классов» [Там же: 187].

Я более подробно рассмотрю идеи этого автора несколько позднее, когда речь пойдет о другой модели европейской истории — модели «государства Нового времени», — поскольку высказанная Тешке критика является релевантной и для нее тоже. Пока же зафиксируем действительно ключевое положение: модель военно-налогового государства скорее постулирует, чем объясняет наличие геополитической конкуренции на европейском пространстве и при этом не способна объяснить крайне избирательный механизм действия данной конкуренции. Ведь, «города-государства, союзы городов, [Священная Римская] Империя, государство-церковь, торговые республики, аристократические республики и крестьянские республики — сохранялись в зарождавшейся межгосударственной системе, хотя зачастую опирались на гораздо меньшие территории и население [по сравнению с территориальными монархиями]» [Там же: 188].

Другой специалист в области международных отношений Джейсон Шарман, напротив, избрал мишенью своей критики скорее историческую вариацию военно-налоговой модели с ее вниманием к феномену «военной революции», в частности книгу Джеффри Паркера «Военная революция: военные инновации и возвышение Запада» [Parker 1996]. Как уже упоминалось ранее, Паркер полагает, что именно военное превосходство европейцев стало главной причиной успеха их территориальной экспансии за пределами Европы. Шарман приводит три ключевых возражения против данной концепции военно-технологического

детерминизма: «Во-первых, европейские силы, переброшенные через океан, были крошечными (и, следовательно, зависели от гораздо более многочисленных местных союзников...). Во-вторых, процесс европейской экспансии эпохи раннего Нового времени в основном возглавлялся группами авантюристов или хартийными компаниями, а не армиями суверенных государств. В-третьих, тактически европейцы чаще были вынуждены адаптироваться к местным обстоятельствам, что подрывает тезис о том, что в раннемодерном мире существовала одна, созданная в Европе доминирующая форма ведения войны, использованная для подчинения всего остального мира. Помимо собственно необходимости пересечения океанов, раннемодерные инновации в военной технике играли относительно незначительную роль в успехе европейских военных действий за пределами Европы» [Sharman 2017: 499].

Подобный критицизм эмпирически вполне обоснован. Действительно, испанская Конкиста в Америке на своих первых этапах велась небольшими отрядами, редко превышающими по численности две сотни человек, огнестрельное оружие, артиллерия и кавалерия использовались незначительно¹¹. Разумеется, ни о какой бастионной фортификации или использовании тактики *pike and shot*, характерной для европейских войн того времени, не было и речи. Только после развертывания местной промышленности (способной обеспечить производство пороха, металлического оружия и доспехов), произошедшего ближе к концу XVI века, война в Америке «европеизируется». Однако первые цепи укреплений и первое подразделение испанской регулярной армии в Америке — Арауканская терция — были созданы для нужд ведения *оборонительной* войны против племен мапуче на юге современных Чили и Аргентины (Патагония). Испании так никогда и не удалось окончательно покорить этот регион, который был «умиротворен» в конце XIX века уже независимыми государствами Латинской Америки [Clément 2015; Кеймен 2007: 334–336]. Аналогично покорение Сибири осуществлялось крайне немногочисленными иррегулярными отрядами казаков. Первые отряды русской регулярной армии в Сибири появляются в ходе провальной

¹¹ Участник экспедиции Кортеса Берналь Диас де Кастильо в своих мемуарах писал о времени между «Ночью печали» и победоносной для испанцев битве при Отумбе: «Да, положение было ужасное, мы думали о том, что нас ждет впереди, все мы были ранены и спасли лишь 23 лошади; не было пушек, да и пороха совсем не осталось; тем более что мы не знали, как отнесется к нам, побежденным, дружественная прежде Тлашкала» [Кастильо].

попытки организовать два полка «нового строя» в Тобольском уезде в 1658–1860 годах. И только в 1698 году в ходе военной реформы Петра I создается Тобольский драгунский полк [Дмитриев 2008: 40–53, 148–188].

Кроме того, военно-фискальная модель является отчетливо европоцентристской, так как не только отказывается замечать слабый технологический разрыв между европейцами и их соперниками в Азии, Африке и Америках, но и закрывает глаза на тот факт, что сильнейшей в военном отношении державой Европы во второй половине XV — первой трети XVIII века была Османская империя [Sharman 2017: 506–507]. Хотя даже Паркер вынужден признать, что «необходимо помнить о том, что это турки были у врат Вены, а не европейцы у врат Стамбула» [Parker 1995: 356]. Следовательно, военно-налоговая модель не в состоянии объяснить фазу европейской экспансии, предшествовавшую серии русско-турецких и австро-турецких войн второй половины XVIII — первой половины XIX веков, уничтоживших статус Турции как великой державы. Фактически цепь непрерывных военных побед европейцев на всем евразийском пространстве стартует только в XVIII веке. Что любопытно, именно этот период отмечен кардинальным замедлением темпов развития вооружений: «скоротечный в XV–XVII вв. процесс совершенствования стрелкового оружия почти замер после 1690 г., когда изобретение штыка с кольцевой насадкой позволило совместить стрельбу с холодным оружием для защиты от конницы, упразднив, таким образом, пикинёров... английский мушкет образца 1690 г. [был] стандартным оружием британской армии до 1840-х» [Мак-Нил 2008: 167].

Подводя итог, военно-налоговая модель содержит слишком большое количество теоретических аномалий, которые вряд ли будут успешно ликвидированы. Поэтому попытка проводить сравнительный анализ России и Испании в ее теоретических рамках заведомо видится не слишком продуктивной. Однако данные аномалии одновременно являются и референтными точками, отталкиваясь от которых можно провести некоторые линии сравнения между двумя империями. Если «чистые» геополитические объяснения страдают от отсутствия социального компонента и двухтактная конструкция «война — налоги» не может быть универсальным объяснением европейской экспансии, то это отнюдь не означает, что темы войны и фиска можно вовсе не рассматривать. Напротив, они должны стать одними из ключевых (не в последнюю очередь и потому, что по данным темам уже наработан огромный материал), но их нужно анализировать в других категориях.

Модель «государства Нового времени»

Модель «государства Нового времени» не является полным антиподом военно-налоговой, а скорее представляет собой ее чуть более «мирную» версию. Как можно заметить уже из ее названия, эта модель имеет историческое дисциплинарное происхождение — хронологический признак, вынесенный в название, является ключевым. Хотя как термин, указывающий на некую качественную целостность внутри определенного хронологического отрезка, «государство Нового времени» (оно же «модерное государство») фигурировало, например, в немецкой историографии еще до Второй мировой войны; в виде модели оно было оформлено только в 1970-х годах [Кром 2016: 3].

Американский медиевист Джозеф Стрейер в своей влиятельной работе «О средневековых истоках государства Нового времени» (1970) выделяет три ключевых признака модерного государства. Первый — устойчивость некоторого человеческого сообщества в пространстве и времени: «Только проживание и совместная работа на определенной территории на протяжении многих поколений может позволить группе людей развить жизненно необходимые для государственного строительства паттерны организации» [Strayer 1970: 5]. Эта устойчивость и отличает государство от политических альянсов кочевников или «варварских» племен (автор приводит в пример франков). Второй признак — формирование безличных (*impersonal*) относительно постоянных политических институций. Эти институции помогают сообществу осуществлять контроль над ресурсами и способностями своих членов, распространяющийся на большую территорию, чем это может сделать домохозяйство, базирующееся на личных взаимоотношениях. Причем со временем авторитет и престиж этих институций растет и в конце концов они получают право окончательного решения — т. е. формируется государственный суверенитет в его современном понимании. В этом пункте очевидно влияние работ Макса Вебера, хотя Стрейер на него и не ссылается. В качестве третьего и ключевого признака Стрейер выделяет перенос лояльности с семьи, локального сообщества или религиозной организации на государство [Ibid.: 5–9].

Как и следует из названия книги, Стрейер рассматривал довольно длительный процесс. Формирование государства, по его мнению, растянулось примерно с 1100 до 1600-х годов. Уже одно это делает его концепцию довольно уязвимой для критики, ведь крайне затруднительно «замерить» изменение уровня лояльности сквозь пять веков. Это, впрочем, признавал и сам автор: «это изменение обычно столь постепенное,

что его процесс сложно документировать; невозможно сказать, что есть определенная временная точка, где лояльность к государству становится доминирующей» [Ibid.: 9–10]. Кроме того, вновь дала о себе знать историческая одержимость «идолом истоков». Стрейер полагал, что первыми модерными государствами были (разумеется!) Англия и Франция, дальше же этот образец копировался всеми остальными европейскими политическими образованиями [Ibid.: 12, 53–54]. Причем для Стрейера фактор войны не играл никакой роли — он в основном разбирал структуру канцелярий и судов. Поэтому механизм институционального трансфера в таком случае не может быть объяснен даже через фактор геополитического давления (если мы считаем, что таковое существует). Однако все эти недостатки не помешали следующему поколению исследователей использовать наработки Стрейера в дальнейших исследованиях.

Самым масштабным проектом такого рода стал французский “La genèse de l’Etat moderne”, стартовавший в 1984 году под руководством французского специалиста по средневековой Англии Жан-Филиппа Жене и бельгийского медиевиста Вильяма Питера Блокманса. Проект, объединивший несколько десятков ученых из разных стран, увенчался выпуском семитомной серии под общим названием «Истоки государства Нового времени в Европе, XIII–XVIII вв.», выпущенной в 1995–2000 годах [Economic Systems and State Finance 1995; The Individual in Political Theory and Practice 1996; Power Elites and State Building 1996; Legislation and Justice 1997; Resistance, Representation and Community 1997; Iconography, Propaganda, and Legitimation 1998; War and Competition between States 2000]. Создатели попытались совместить модель Стрейера с набиравшей в то время популярность военно-налоговой моделью¹². По мнению создателей проекта, современное государство возникло в промежутке между 1250 и 1350 годами и представляло собой организацию, обеспечивающую контроль над правосудием и использованием военной силы, обладавшую материальной базой, основанной на системе публичных налогов и легитимной в глазах элиты сообщества [Кром 2016: 8–9]. Географически современное государство родилось в западноевропейских монархиях — Англии, Шотландии, Франции, Кастилии, Арагоне, Наварре и Португалии, — откуда посредством механизмов трансфера проникло на территории Германии, Италии, Скандинавии

¹² Это неудивительно, учитывая, что Блокманс с Тилли вместе редактировали сборник статей, посвященный истории европейских городов [Cities and the Rise of States in Europe, A. D. 1000 to 1800].

и Восточной Европы [Там же]. Добавив к военно-налоговой модели такой параметр, как легитимность, авторам пришлось углубиться в исследование культурных механизмов ее обеспечения, под что был выделен отдельный том. Это, а также хронологические рамки генезиса современного государства сближают концепцию авторов проекта с моделью Стрейера. Кроме того, на уровне архитектоники самого проекта была несколько ослаблена жесткая связь между войной и налогами: война и дипломатия были выделены в один том, а экономика и система государственных финансов — в другой.

Несмотря на то что в ходе проекта было собрано большое количество материала, он не был обобщен, и потому модель, в сущности, осталась недостроенной и довольно «рыхлой». Она имеет преимущественно дескриптивный характер — в ней отсутствует объяснение действующего механизма появления и развития современного государства, за исключением позаимствованного из военно-фискальной модели. К числу других ее недостатков можно отнести отсутствие объяснения механизма институционального и культурного трансфера, которое, впрочем, характерно для всех диффузионных моделей. Кроме того, можно отметить вполне традиционный европоцентризм — за границами внимания авторов остались Россия и Османская империя. И если последний недостаток можно исправить, постаравшись дополнить его новым материалом, что для России было сделано в работах Михаила Крома [Кром 2016; Кром 2018], то остальные намного тяжелее поддаются корректировке. Однако самая радикальная критика была высказана по поводу двух, казалось бы, несомненных достоинств модели — ее длительной временной перспективы (пять веков) и претензии на тотальный охват западноевропейского пространства.

Композитное/конгломератное государство

Шведский историк Харальд Густафссон, специалист по сравнительной истории Скандинавии, критиковал модель «модерного государства» за то, что ее сторонники оставили без внимания важнейшую стадию формирования европейских государств. Густафссон называет ее «конгломератным государством» (*conglomerate state*)¹³: «Территориальные,

¹³ Мне не встречались ссылки на эту работу в русскоязычных исследованиях, поэтому с определенной долей уверенности можно утверждать, что устоявшаяся традиция перевода этого термина на русский отсутствует.

суверенные государства не выскочили из коллапса феодальной системы в позднем Средневековье, подобно Афине, появляющейся из головы Зевса. Напротив, доминирующий тип государственности в раннемодерной Европе может быть обозначен как конгломератное государство. Это было государство, состоящее из территорий, находящихся в разных отношениях с их правителями... Это была политическая, юридическая и административная мозаика, а не современное унитарное государство. Но это была мозаика, держащаяся вместе крепче, чем ее средневековые предшественники» [Gustafsson 1998: 189]. Густафссон использовал для своей критики более ранние идеи Гельмута Кёнигсбергера и Джона Эллиота, двух специалистов по Испанской империи, которые вводили термины «комполитное/комполитарное государство» (*composite state*) и «комполитная/комполитарная монархия» (*composite monarchy*) соответственно [Koenigsberger 1978; Elliot 1992]¹⁴.

Все три термина описывают один и тот же феномен: «Это было государство, состоящее из нескольких территорий, обычно собранных вместе посредством правящего дома, но удерживаемых вместе посредством ряда других факторов¹⁵. Каждая территория — или, вернее, социальная элита каждой территории — имела свои собственные отношения с правителем, свои собственные привилегии, свои собственные законы, ее административная система комплектовалась членами той же самой локальной элиты, и она часто имела собственную сословную ассамблею. По вопросам налогообложения или набора армии правителю приходилось договариваться с каждой территорией по отдельности... Это была не некая альтернативная форма, сосуществующая с возникающими “национальными” или унитарными государствами, но это была единственная форма государственности раннемодерной Европы... [Вместе с тем] новая конгломератная [форма] не была феодальной, государь теперь был повелителем всех своих земель, он был, так сказать, своим собственным вассалом на своих различных территориях» [Gustafsson 1998: 194]. На эмпирическом уровне Густафссон проанализировал отношения

¹⁴ Как и в предыдущем случае, устоявшаяся традиция перевода термина отсутствует. Переводчик учебника по истории Европы раннего Нового времени за авторством Кёнигсбергера перевел “*composite state*” как «сложносоставное государство», но мне данный вариант представляется несколько сомнительным [Кёнигсбергер 2006: 50–56]. Далее по тексту я преимущественно буду использовать термин «комполитное государство».

¹⁵ К ним Густафссон относит экономические и культурные связи.

шведской и датской короны с крайне многообразным набором подчиненных им политических образований: например, шведскому королю в XVII веке приходилось «абсолютистскими мерами» противостоять аристократии в самой Швеции, но при этом он не собирався нарушать «конституционной» автономии подчиненных ему Померании, Эстонии, Висмара и так далее [Ibid.: 197–207].

Острые критики таким образом было направлено на два тезиса, которые разделяют сторонники модели «государства Нового времени»: современные государства обладали достаточно четко определенной территорией и имели единые для этой территории политические институты. Скорее следует говорить об определенных *территориях*, а единственным универсальным политическим институтом для этих территорий была фигура правителя. Многие политические образования Нового времени даже не имели названия. Например, австрийская ветвь Габсбургов управляла «землями Австрийского дома», не было названия и у объединения датской и норвежских корон [Ibid.: 194, 196].

Причем если сторонники модели «модерного государства», как мы видели из слов самого Стрейера, зачастую затрудняются вывести его существование прямо из исторических источников (в силу большой длительности процесса), то в случае «композитного государства» мы имеем множество примеров рефлексии самих исторических акторов над «композитным» характером современной им политической жизни. С точки зрения исторической дисциплины это несомненное достоинство модели «композитного государства». Например, в самом конце XVIII века один тирольский дворянин комментировал унифицирующие реформы «австрийского» императора Иосифа II в следующем духе: «Чем может волновать жителей Тироля происходящее в Богемии, Моравии и других странах? Это вопрос чистой случайности, что их [тирольский] государь так же правит другими странами» [Цит. по Gustafsson 1998: 207]. За два века до этого юрист Хуан де Солорсано Перейра (1575–1655) похожим образом описывал главный принцип работы «испанского» «композитного государства»: каждая из территорий, входящих в состав монархии, должна быть управляема так, как если бы король, правящий всеми, управлял только ею [Перес 2012: 31].

Испания, возможно, является наилучшим примером «композитного государства» (не случайно термин впервые был введен именно испанцами). Попробуем кратко реконструировать возможные варианты складывания ее политической общности в хронологическом порядке. Если бы сторонники Изабеллы Кастильской проиграли в войне за кастильское

наследство (1475–1479) сторонникам Хуаны Бельтранехи¹⁶, то вместо династической унии Кастилии и Арагона сложилась бы уния Кастилии и Португалии, что, вероятно, привело бы к значительно более выраженному атлантическому и африканскому характеру экспансии нового государства по сравнению с утвердившимся в реальности средиземноморским вектором (Итальянские войны). Если бы внук Изабеллы и Фердинанда принц Мигел де Паш не скончался бы в 1500 году, то он унаследовал бы три короны — кастильскую, арагонскую и португальскую — значительно раньше, чем это удалось сделать в реальности Филиппу II, присоединившему Португалию в ходе династической войны в 1581 году. Если бы Фердинанду Арагонскому после смерти Изабеллы Кастильской (1504) удалось в новом браке с наваррской наследницей Жерменой де Фуа зачать нового наследника мужского пола вместо умершего вскоре после рождения Хуана Жиронского, то уния Кастилии и Арагона бы распалась. В результате Наварра, а также арагонские владения как на Пиренейском полуострове, так и в Италии, не отошли бы к бургундской ветви Габсбургов, что не привело бы к возникновению грандиозной континентальной империи Карла V. Если бы Карлу V удалось передать все свои владения своему сыну Филиппу II, а не делить их между сыном и братом (будущим императором Фердинандом I), то Испания бы стала пускай важной, но все же только частью нового государства. Если бы Филиппу II и его второй супруге Марии Тюдор (она же Мария Кровавая) удалось бы зачать наследника, то возникла бы династическая уния Испании и Англии — я затрудняюсь даже попытаться реконструировать все возможные последствия этого для хода европейской и мировой истории. И наконец, если бы любимой дочери Филиппа II Изабелле Кларе Евгении и ее супругу Альбрехту Австрийскому удалось зачать наследника, то испанские Нидерланды отошедшие к их семейной паре в качестве приданого Изабеллы, стали бы независимым государством под началом отдельной ветви Габсбургов, а не вернулись к испанской короне после смерти Изабеллы в 1633 году. Или же отошли бы австрийской ветви Габсбургов почти на сто лет раньше, чем это произошло в реальности по результатам Войны за испанское наследство (1700–1714). Оба варианта, вероятно, позволили бы Испании сложить с себя хотя бы часть бремени военных расходов во Фландрии.

¹⁶ Дочь короля Энрике IV Бессильного получила это прозвище из-за слухов о своем незаконном происхождении от фаворита королевы Бельтрана де ла Куэва. Под этим предлогом была лишена наследства в пользу Изабеллы.

Как можно видеть применительно к Испании, вряд ли можно говорить о какой-либо устойчивости в пространстве и времени, которую Стрейер постулирует в качестве одного из ключевых признаков «модерного государства»¹⁷. Напротив, практически в любой момент времени могли возникнуть условия для ее кардинальной территориальной трансформации. Также вряд ли можно говорить о каком бы то ни было «переносе лояльности на государство» и его безличные институты: во всяком случае, мне неизвестны источники, которые позволяют однозначно утверждать, что лояльность неаполитанцев «испанскому» королевскому Совету по делам Италии или лояльность арагонцев Совету по делам Арагона была выше, чем лояльность непосредственно королю или правящей династии. Не говоря уже об испанских конкистадорах в Америках, непрерывно конфликтующих с Советом по делам Индий и ищущих защиты своим притязаниям в приемной короля. Напротив, само существование подобных опосредующих структур между королем и его подданными было перманентным поводом для конфликта. Как это формулирует Джон Эллиот: «королевский абсентеизм¹⁸ представлял собой главную структурную проблему [для композитных монархий]» [Elliot 1992: 56]. Поэтому способность находящихся в Мадриде центральных органов управления испанского «композитного государства» во второй половине XVI–XVIII веках поддерживать хоть какую-то степень контроля над значительно удаленными и крайне дифференцированными в языковом и культурном отношении территориями сама по себе является незаурядным политическим и административным достижением.

Можем ли мы обнаружить подобный «композитный» характер государства в России? Как минимум с XVIII века — определенно да. При-

¹⁷ Справедливости ради отмечу, что Стрейер не отрицал факта раздробленности Франции, он называл ее «мозаичным государством», которое удерживается вместе «цементом бюрократии» [Strayer 1970: 53–54]. Однако он все еще телеологически мыслит Францию как некое предзаданное и относительно устойчивое политическое единство, централизующееся с ходом времени.

¹⁸ Здесь этим термином обозначена перманентно закрытая для части элит возможность получить прямой доступ к правителю в связи с его физическим нахождением в иной географической точке. Это приводило к выстраиванию чрезвычайно сложных и многоуровневых патронажных сетей между столицей и удаленными провинциями, поскольку для любой группы локальной элиты было жизненно необходимо обеспечить доступ к королевскому двору. Поэтому фаворитизм — неотъемлемая черта всех монархий того периода — был в этом отношении чрезвычайно функциональным институтом.

балтийские провинции, отошедшие к России по результатам Северной войны, управлялись по собственному законодательству, а официальным языком делопроизводства в них был немецкий. Сибирские территории были выведены в отдельную юрисдикцию с 1637 года, когда был создан Сибирский приказ [Сибирь в составе Российской империи 2007: 77]. И хотя объем автономии Сибири сильно варьировал во времени, ее нельзя рассматривать (и современники так и делали) в качестве части России как минимум до второй половины XIX века. Территории, отторгнутые от Польши по результатам трех разделов Речи Посполитой, сохраняли свое законодательство вплоть до Польского восстания (1830–1831). С этой точки зрения создание Александром I автономных Царства Польского и Великого княжества Финляндского выглядит не внезапной прихотью царя-реформатора, а вполне логичным продолжением политики предшествующего периода, вытекающей из структурных особенностей «компози́тного государства»¹⁹. Более ранний период XV–XVII веков, характеризуется значительными расхождениями в оценках, вызванными в основном недостатком источников, позволяющих сделать однозначные выводы о степени централизации Московского государства. Например, Нэнси Шилдс Коллманн рассматривает Россию как крайне гетерогенное, полиэтническое политическое образование, «*де-факто империю*», начиная уже с 1450-х годов [Kollmann 2017: 41–83]. Венгерский русист Эндре Сашалми, напротив, полагает, что термин «компози́тно-династическое государство» (*composite-dynastic state*) применим к России только начиная с 1725 года, указывая на то, что в России не существовало идеологического и институционального оформления для развития регионализма [Sashalmi 2009: 139–141].

Подводя итог, сторонники модели «компози́тного государства» критикуют гипертрофированный и анахроничный тезис о высокой степени гомогенности государств XIV–XVIII веков. Они вычленяют дополнительную темпоральную стадию, пропущенную в модели «модерного государства». Вместо плавного многовекового процесса трансформации европейских политических структур, стартующего уже в XIII–XIV веках

¹⁹ Характер государственности Российской империи XVIII–XX веков описывается в категории множественности и гетерогенности, начиная с выхода известной монографии Андреаса Каппелера «Россия — многонациональная империя. Возникновение. История. Распад» в 1993 году [Каппелер 2000]. После чего количество тематической литературы начало стремительно расти. Однако она преимущественно концентрируется на периоде XIX века.

и направленного в сторону централизации, скорее можно выделить три относительно четкие стадии: сперва раздробленное средневековое феодальное государство (примерно до середины XV века), затем композитное государство и наконец собственно модерное государство (после Великой французской революции). Однако такая последовательность все еще остается уязвимой для критики. На этот раз за свою имманентную телеологичность.

Уже знакомый нам политический марксист Бенно Тешке подверг критике саму идею существования универсального перехода всех без исключения разнородных постфеодальных политических образований Европы к единой модели «модерного государства». Он постарался вывести свою собственную модель из старой марксистской идеи, что в феодальном порядке экономическая и политическая власть являются нерасчленимыми. Там существует, в сущности, самовоспроизводящийся порядок накопления ресурсов через их присвоение у непосредственного производителя — внеэкономическое принуждение. При этом в такой системе, по мнению Тешке, территориальность как таковая была невозможна. Феодалы были вынуждены следовать за своей крестьянской «кормовой базой», повинуясь демографическим волнам аграрной экономики, сражаясь с крестьянами за долю извлекаемых ресурсов и сражаясь между собой за крестьян. Территория же *per se* не имела никакого значения. Таким образом, феодальная логика геополитического накопления как игры с нулевой суммой продолжает воспроизводиться и в том периоде, который для марксистов более привычно называть абсолютистским — здесь Тешке согласен с Андерсоном. Однако именно потому, что территория как таковая не имела особого значения, государство не может рассматриваться как актер исторического процесса — его просто еще не существовало в привычном нам смысле. Главным актором были династии: «Территориальность оставалась производной частных династических практик накопления территорий и их оборота... Единство территорий означало не более чем единство ее правящего дома, персонифицированного главой династии... Территория не задавала суверенитет, а служила имущественным приложением к династии... по сути, ранненовоярременная территориальность не предполагала государственной централизации, не была национальной, этнической, деноминационной, геостратегической, топографической, культурной или лингвистической конструкцией, оставаясь неоформленным результатом династических брачных политик и поддерживаемого войнами перераспределения территорий» [Тешке 2011: 332–333].

Подобная модель, согласно Тешке, могла самовоспроизводиться практически бесконечно, поэтому универсального перехода к следующей стадии — современному государству — не произошло. Абсолютизм становился историческим тупиком. Выходом из него был капитализм, а переход к нему произошел только в одном месте — в Англии, как результат процессов огораживания XVI–XVII веков. Благодаря им была разрушена крестьянская форма собственности на землю, крестьяне превратились в наемных работников, а феодалы-землевладельцы смогли превратить свои наделы в источник рентных доходов. Окончательным итогом подобного исхода классовой борьбы была «трансформация милитаризованного и децентрализованного класса господ в демилитаризованный класс капиталистических землевладельцев», способный создать новую форму суверенитета — «король в парламенте» [Тешке 2007: 18–19]. В хронологическом отношении это означает, что Англия переходит к новому режиму после Славной революции 1688 года и Унии с Шотландией 1707 года.

Мне представляется, что любопытным в этой концепции английской исключительности является только одно: «прогрессивным» классом становится не буржуазия, а земельная аристократия. Во всем остальном это вполне традиционный марксистский нарратив с его приматом классового конфликта. В работах Тешке намного более ценна его развернутая, пронизательная и глубокая критика ряда существующих теорий, чем предложенный им взамен вариант политического марксизма²⁰.

Однако, если принять два более абстрактных положения Тешке, с которыми я склонен согласиться, — 1) европейская логика международных отношений до начала XIX века (а возможно, и позднее) не была логикой отношений суверенных современных государств и 2) универсального перехода к современному государству не существует, — то становятся видны пути, по которым можно трансформировать существующие модели. Необходимо всерьез отнестись к многообразию политических форм Европы, признав за каждой из них возможность существования ее собственной автономной логики действий и (само)воспроизводства, а не редуцируя их все до комбинаторики классового конфликта, как это делает Тешке. В таком случае само понятие «государство» становится до определенной степени проблемным и схоластическое выделение «форм» государства вряд ли может быть признано достаточной мерой по ее

²⁰ Из почти четырехсот страниц книги переходу Англии к капитализму посвящены всего тридцать, хотя это ключевой момент!

решению. Более продуктивным представляется спуститься непосредственно до уровня акторов, не объединяя их в одну общую логическую категорию «государство».

В таком случае логика династического дома предположительно должна довольно сильно отличаться от логики республиканского полиса (в основном фигурирует в историографии как *City-state*). Ключевой вопрос здесь: как символическая структура династического дома, обладающая собственной логикой и идеологическим подкреплением в виде различного рода теорий «божественного права короля», соотносилась с более широкой институциональной структурой, посредством которой переводилась в реальное политическое действие? Действительно ли мы именно здесь находим «первичное разделение труда по господству» [Бурдьё 2007: 267] между триадой короля, его династических соперников и их обладающих властью, но лишенных возможности к политическому воспроизводству (поскольку они не являются частью династии) королевских министров? Действительно ли такая структура ведет к зарождению современной бюрократии, как утверждал Пьер Бурдьё [Бурдьё 2007: 274–286]?

Именно здесь и открывается возможность для продуктивного сравнения Российской и Испанской империй, которые мы теперь наконец можем поместить в одну классификационную ячейку. Но для этого в первую очередь нам необходимо их переименовать.

Империя Бурбонов и империя Романовых в XVIII веке

Начало XVIII века было периодом сильных изменений в расстановке сил в Европе. Ряд династических домов улучшили свое положение: Гогенцоллерны учредили титул короля Пруссии (1701); Виктор Амадей II, первый член Савойского дома, получивший титул короля (1720), стал правителем Пьемонта, Савойи, Сардинии, Монферрата и заложил, таким образом, основы для будущего объединения Италии.

Эти изменения коснулись и Бурбонов, которые после кровопролитной войны за испанское наследство (1701–1714) усадили Филиппа, внука Короля-Солнце Людовика XIV, на испанский трон. Именно тогда впервые создается титул короля единой Испании. Декретами *Nueva Planta* (1707 и 1714 годов) был уничтожен автономный статус Валенсии, Арагона, Балеарских островов и Каталонии, поддержавших в династической войне кандидата от Габсбургов. Однако «композитный» характер

владений нового короля сохранился — продемонстрировавшие лояльность Бурбонам Наварра и Страна Басков сохранили все свои права. Габсбургам были переданы Бельгия и итальянские территории [Камен 1969].

Война за испанское наследство была ключевым событием и для дома Романовых. Французским Бурбонам пришлось бросить все свои силы на войну с Габсбургами, и они не смогли поддержать своих традиционных союзников со времен Тридцатилетней войны — шведских королей. В ходе Северной войны Петр I выбил Швецию из разряда великих держав и стал первым русским императором. Обратим внимание, что в синхронных источниках Северная война понималась современниками именно как война русского царя со шведским королем, а не как конфликт двух «суверенных государств». Труд Петра Павловича Шафирова «Какие законные причины его царское величество Петр Первый, царь и повелитель Всероссийский... к начатию войны против короля Карла XII, Шведского, в 1700 году имел» — первый шедевр политической пропаганды, предназначенной для зарубежного читателя, вышедший на русском языке, — в этом отношении весьма показателен [Шафиров 1717].

Таким образом, мы имеем *синхронный* кейс очень схожих радикальных политических изменений на восточном и западном краю Европы. И в том и в другом случае происходило кардинальное изменение характера подчиненных династии территорий и реконфигурация сил, связанных с династическим домом элит. Хотя Петр I, в отличие от Филиппа V Испанского, и был прямым наследником предыдущего царя, но на трон он вззошел, по сути, в результате династического конфликта старшей ветви дома с младшей [Бушкович 2008]. Некоторые исследования даже демонстрируют, что в ходе своего правления он больше полагался на харизматическое, а не на традиционное господство (если использовать веберовское различие) [Зицер 2008]. И тот и другой монарх массово привлекали на службу иностранцев, которые сформировали значительную часть обновленной элиты. И тот и другой провели глубокие административные и военные реформы.

В дальнейшем синхрония сохраняется — реформы Карла III (король Испании с 1759 по 1788 год) совпадают по времени и глубине преобразований с реформами Екатерины II (императрица России с 1762 по 1796 год). Увидим ли мы политику, войны и реформы XVIII века по-новому, если будем смотреть на них с точки зрения логики династического дома, а не через призму «государственного интереса» или классового конфликта «эпохи просвещенного абсолютизма»? Скорее всего, да.

Наиболее интересны в этом отношении реформы, затрагивающие финансовую сферу и местное управление. Например, Регина Графе и Александра Иригойн в своем исследовании фискальной политики в испанской Америке XVIII века обнаружили целый ряд интересных эффектов, проистекающих из новой архитектуры бурбонских налоговых институтов. «Испанская налоговая система была децентрализована и раздроблена на большое количество фискальных округов (так называемых *sajas*) и множество категорий налогоплательщиков, дифференцированных по статусу, этнической принадлежности, виду юридического лица, месту проживания (в городе или деревне) и географическому положению» [Graffe, Irigoien 2012: 611]. При этом значительная часть собранных сумм (до трети) не тратилась в том округе, где собиралась, а перемещалась в другой такой же округ через обширную сеть местных посредников, не являвшихся «государственными» чиновниками [Ibid.: 619–620]. Это создавало мощные стимулы для кооперации местных элит с центральной администрацией, авторы называют такую структуру “*stakeholder empire*”.

В Российской империи XVIII века деньги от уплаты основных налогов (в первую очередь подушной подати) также распределялись на региональном уровне — через провинциальные канцелярии, где они или сразу тратились на месте, или отправлялись прямо в армейские полки либо частично отправлялись в столицы. При этом собираемость подушной подати, т. е. *прямого* налога, доходила до 96 % [Корчмина 2013: 85]. Как это согласуется с привычным образом Российской империи как «недоуправляемой» структуры, страдающей от перманентной нехватки квалифицированных чиновников [Величко 2005]?

Вероятно, в обоих случаях мы имеем дело с существованием все тех же консультативных механизмов, которые Хеншелл в «Мифе абсолютизма» рассматривал как универсальные для всех европейских монархий Нового времени — местное управление было практически полностью отдано в руки элит локальных сообществ. Где-то степень автономии этих элит была большей, где-то сравнительно меньшей. Однако представляется, что в монархиях испанских Бурбонов и Романовых она стала приблизительно сопоставимой именно в XVIII веке — в первом случае степень «композиции» уменьшилась, а во втором увеличилась. Подобная административная структура обеспечивала очень слабый по современным меркам, но достаточный уровень управляемости для реализации тех целей, который монарх ставил себе, исходя из внутренней логики династического дома. Однако данная структура, по моему мне-

нию, имеет довольно мало общего с идеало-типической «веберовской» бюрократией, поэтому ее необходимо анализировать не в привычных нам категориях, слишком тесно связанных с понятием «государство».

Были ли подобные гомологии, которые мы наблюдаем на разных концах Европы, результатом действия некоторых общих процессов? Как это связано с тем, что именно в XVIII веке, как уже упоминалось, европейцы впервые достигли неоспоримого военного превосходства над остальной частью мира? Как династические дома взаимодействовали с другими типами политических структур, такими как города-государства? Как в XIX веке происходит трансформация международной системы, ведущей к появлению современных суверенных государств, и происходит ли? Вряд ли на все эти вопросы можно будет ответить, привлекая только российский и испанский материал. Все-таки возможности дуальных сравнений сильно ограничены, а речь идет о явлениях потенциально общеевропейского или даже мирового масштаба. Однако, как представляется, подобное сравнение будет небесполезным камнем в основание фундамента новой теории.

Литература

Андерсон П. Родословная абсолютистского государства. М.: Территория будущего, 2010.

Биллингтон Д. Икона и топор: опыт истолкования русской культуры. М.: Рудомино, 2001.

Блок М. Апология истории или ремесло историка. М.: Наука, 1986.

Блок М. К сравнительной истории европейских обществ // Одиссей. Человечество в истории. Русская культура как исследовательская проблема. М.: Наука, 2001. С. 65–93.

Бурдые П. От «королевского дома» к государственному интересу: модель происхождения бюрократического поля // Бурдые П. Социология социального пространства. СПб.: Алетейя, 2007. С. 255–288.

Бушкович П. Петр Великий: борьба за власть (1671–1725). СПб.: Дмитрий Буланин, 2008.

Валлерстайн И. Мир-система Модерна. Т. I. Капиталистическое сельское хозяйство и истоки европейского мира-экономики в XVI веке. М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2015.

Величко С. Численность бюрократии и армии в Российской империи в сравнительной перспективе // Российская империя в зарубежной

историографии. Работы последних лет. Антология. М.: Новое издательство, 2005. С. 85–116.

Дмитриев А. В. Войска «нового строя» в Сибири во второй половине XVII века. Новосибирск: Изд-во Новосибирского государственного университета, 2008.

Зицер Э. Царство Преображения. Священная пародия и царская харизма при дворе Петра Великого. М.: Новое литературное обозрение, 2008.

Испания и Россия: исторические судьбы и современная эпоха / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Международные отношения, 2017.

Каменский А. Б. От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII века. М.: Наука, 2019 [1-е изд. — 1999].

Канпелер А. Россия — многонациональная империя. Возникновение. История. Распад. М.: Прогресс-Традиция, 2000.

Кастильо Бернар Диас дель. Правдивая история завоевания Новой Испании. URL: <http://www.vostlit.info/Texts/rus8/Dias/frame1.htm> (дата обращения: 12.03.2021).

Кеймен Г. Испания: Дорога к империи. М.: АСТ, 2007.

Кёнигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500–1789. М.: Весь мир, 2006.

Кеннеди П. Взлеты и падения великих держав. Екатеринбург: Гонзо, 2018.

Козлов С., Дмитриева З. Налоги и войны в России XVI–XVIII вв. СПб.: Историческая иллюстрация, 2020.

Корчмина Е. С. «...многие миллионы государственной казны в неизвестности находятся»: недоимки по подушной подати 1720-х — 1760-х гг. // Российская история. 2013. № 5. С. 77–91.

Кром М. М. Рождение государства: Московская Русь XV–XVI веков. М.: Новое литературное обозрение, 2018.

Кром М. М. Государство раннего Нового времени: общеевропейская модель и региональные различия // Новая и новейшая история. 2016. № 4. С. 3–15.

Ле Гофф Ж. Стоит ли резать историю на куски? СПб.: Евразия, 2018.

Мак-Нил У. В погоне за мощью: технологии, вооруженная сила и общество в XI–XX веках. М.: Территория будущего, 2008.

Миллер А. И. Модерные империи: проблемы классификации, механизмы консолидации и распада // Политическая наука. 2013. № 3. С. 30–42.

Омельченко О. А. Законная монархия Екатерины Второй. М.: Юрист, 1993.

Пенской В. Великая огнестрельная революция. М.: Эксмо, 2010.

Перес Ж. Изабелла Католичка. Образец для христианского мира? СПб.: Евразия, 2012.

Россия и Испания: историческая ретроспектива / отв. ред. З. В. Удальцов. М.: Изд-во АН СССР, 1987.

Сибирь в составе Российской империи / под ред. Л. М. Дамашек, А. В. Ремнев. М.: Новое литературное обозрение, 2007.

Течке Б. Метаморфозы европейской территориальности: историческая реконструкция // Прогнозис. 2007. № 1 (9). С. 3–36.

Тешке Б. Миф о 1648 годе: класс, геополитика и создание современных международных отношений. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011.

Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства, 990–1992. М.: Территория будущего, 2009.

Флоря Б. Н. Россия и восточнославянские земли Польско-Литовского государства в конце XVI — первой половине XVII в. Политические и культурные связи. М.: Индрик, 2019.

Хеншелл Н. Миф абсолютизма. Перемены и преемственность в развитии западноевропейской монархии раннего Нового времени. СПб.: Алетейя, 2003.

Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: короткий двадцатый век, 1914–1991. М.: Независимая газета, 2004.

Ходарковский М. Степные рубежи России: как создавалась колониальная империя, 1500–1800. М.: Новое литературное обозрение, 2019.

Шарф К. Монархия, основанная на законе, вместо деспотии. Трансфер и адаптация европейских идей и эволюция воззрений на государство в России эпохи Просвещения // «Вводя нравы и обычаи европейские в европейском народе»: к проблеме адаптации западных идей и практик в Российской империи. М.: РОССПЭН, 2008. С. 9–45.

Шафиров П. П. Рассуждение. Какие законные причины его царское величество Петр Первый, царь и повелитель Всероссийский... к начатию войны против короля Карла XII, Шведского, в 1700 году имел. М., 1717.

Black J. War and the Cultural Turn. Cambridge: Polity Press, 2011.

Burbank J., Cooper F. Empires in World History: Power and the Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press, 2015.

Cities and the Rise of States in Europe, A. D. 1000 to 1800 / eds. C. Tilly, W. P. Blockmans. San Francisco and Oxford: Westview Press, 1994.

Clément V. Conquest, Natives, and Forest: How Did the Mapuches Succeed in Halting the Spanish Invasion of Their Land (1540–1553, Chile)? // War in History. 2015. N 4 (22). P. 428–447.

Downing B. The Military Revolution and Political Change: Origins of Democracy and Autocracy in Early Modern Europe. Princeton: Princeton University Press, 1992.

Dunning C. Russia's First Civil War: The Time of Troubles and the Founding of the Romanov Dynasty. University Park, PA: Penn State University Press, 2001.

Dunning C. Moving Beyond Absolutism: Was Early-Modern Russia a Military-Fiscal State? // *Russian History*. 2006. N 1 (33). P. 19–43.

Dunning C. Russia in a Scholar's Life // *Quaestio Rossica*. 2013. N 1. P. 27–40.

Dunning C. Were Muscovy and Castile the First Military-Fiscal States? // *Quaestio Rossica*. 2014. N 1. P. 191–197.

Economic Systems and State Finance. The Origins of the Modern State in Europe, 13th to 18th Centuries / ed. R. Bonney. Oxford: Oxford University Press, 1995.

Elliot J. A Europe of Composite Monarchies // *Past & Present*. 1992. N 137. P. 48–71.

Elliot J. Empires of the Atlantic World: Britain and Spain in America, 1492–1830. New Haven: Yale University Press, 2006.

Glete J. War and the State in Early Modern Europe: Spain, the Dutch Republic and Sweden as Fiscal-Military States, 1500–1660. London: Routledge, 2002.

Graffe R., Irigoien A. A stakeholder empire: the political economy of Spanish imperial rule in America // *Economic History Review*. 2012. N 2 (65). P. 609–651.

Gustafsson H. The Conglomerate State: A Perspective on State Formation in Early Modern Europe // *Scandinavian Journal of History*. 1998. N 3–4 (23). P. 189–213.

Iconography, Propaganda, and Legitimation. The Origins of the Modern State in Europe, 13th to 18th Centuries / ed. A. Ellenius. Oxford: Oxford University Press, 1998.

Israel J. Conflict of Empires: Spain, the Low Countries and the Struggle for World Supremacy, 1585–1713. London: The Hambleton Press, 1997.

Kamen H. The War of Succession in Spain, 1700–1715. Bloomington: Indiana University Press, 1969.

Koenigsberger H. Monarchies and Parliaments in Early Modern Europe. *Dominium Regale or Dominium Politicum et Regale. Theory and Society*. 1978. N 5. P. 191–217.

Kollmann N. S. The Russian Empire, 1450–1801. Oxford: Oxford University Press, 2017.

Legislation and Justice. The Origins of the Modern State in Europe, 13th to 18th Centuries / ed. A. Padoa-Schioppa. Oxford: Oxford University Press, 1997.

Mainz V. Days of Glory? Imaging Military Recruitment and the French Revolution. London: Palgrave Macmillan, 2016.

McAlister L. Spain and Portugal in the New World, 1492–1700. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984.

Murphy S. The British Soldier and his Libraries, c. 1822–1901. London: Palgrave Macmillan, 2016.

Nationalizing Empires / eds. S. Berger, A. Miller. Budapest: Central European University Press, 2015.

Padgen A. Lords of all the World: Ideologies of Empire in Spain, Britain and France c. 1500 — c. 1800. New Haven: Yale University Press, 1998.

Parker G. In defense of the military revolution // The Military Revolution Debate: Readings in the Military Transformation of Early Modern Europe / ed. C. Rogers. Boulder, CO: Westview, 1995. P. 337–365.

Parker G. The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West, 1500–1800. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Power Elites and State Building. The Origins of the Modern State in Europe, 13th to 18th Centuries / ed. W. Reinhard. Oxford: Oxford University Press, 1996.

Resistance, Representation and Community. The Origins of the Modern State in Europe, 13th to 18th Centuries / ed. P. Blickle. Oxford: Oxford University Press, 1997.

Roberts M. The Military Revolution, 1560—1660 // *Roberts M.* Essays in Swedish History. London: Weidenfeld and Nicolson, 1967. P. 195–225.

Sashalmi E. Russia as a Fiscal-Military and a Composite-Dynastic State, 1654–1725 // Государство и нация в России и Центрально-Восточной Европе / ed. G. Szvak. Budapest: Russica Pannonica, 2009. P. 132–144.

Sharman J. Myths of military revolution: European expansion and Eurocentrism // European Journal of International Relations 2017. N 3 (24). P. 491–513.

Strayer J. On the Medieval Origins of the Modern State. Princeton: Princeton University Press, 1970.

The Individual in Political Theory and Practice. The Origins of the Modern State in Europe, 13th to 18th Centuries / ed. J. Coleman. Oxford: Oxford University Press, 1996.

Tilly C. Reflections of the History of the European State-Making // The Formation of National States in Western Europe / ed. C. Tilly. Princeton: Princeton University Press, 1975. P. 3–83.

Tilly C. War Making and State Making as Organized Crime // Bringing the State Back / ed. P. Evans. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. P. 169–187.

War and Competition between States. The Origins of the Modern State in Europe, 13th to 18th Centuries / ed. Ph. Contamine. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Михаил Демьяненко

**Испанская и Российская империи
в XV–XVIII веках: пролегомены к сравнительному
анализу**

Препринт М-82/21

В авторской редакции

Корректор — Д. Капитонов

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге
191187, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, 6/1А

books@eu.spb.ru

Подписано в печать 16.03.21.

Формат 60x88 1/16. Тираж 25 экз.

